



МАРИЯ
НОВОСЕЛОВА



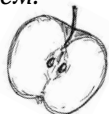
ПРИЗРАКИ
В ОЖИДАНИИ
ГЕРОЕВ





1. Пять ассоциаций* со словом «призрак».

*Летние сумерки, холодный ветер,
скрип деревянных половиц, запах деревен-
ских яблок, блики солнца в чашке с чаем.*



2. Есть ли жизнь после смерти?

*После смерти есть дорога. Каждый
идуший по ней одинок, но иногда он мо-
жет встретить на своем пути такого
же путника и разделить с ним все чуде-
са, которые встретятся им на пути.*



3. О чем эта история?

*Эта история о девушке и ее призраке,
о котором она забыла, когда выросла.*



Говорят, что призраки оживают только ночами, их кожа сухая и пыльная, как страницы старых книг, а голоса подобны шороху паучьих лап. Говорят, что призраки злопамятны, и говорят, что они таятся в душе каждого, прямо позади желтых костей скелетов в шкафу. И еще говорят, что каждый уважающий себя писатель должен написать хотя бы одну историю о призраках, чтобы те не пугали его вдохновение. Но что, если призраки и вдохновение суть одно?

Мой призрак был старой картиной, нежившейся в лучах солнца, когда губы еще помнили сладкий вкус бабушкиной клубники, а руки зудели от укусов комаров. Много лет назад ее нарисовал покойный друг моего отца — опьяневший от безвестности и нищеты художник, имя которого стерлось из памяти столь быстро, словно его начертили веткой на песке.

Я любила эту картину так искренне, как это может делать только ребенок, не одурманенный страхом показаться глупым или смешным, хотя и сама не знала, почему она меня в себя влюбила. Попав в какую-то неприятную историю, одну из тех, которые не принято обсуждать в компании детей, художник расплатился ею с отцом, благодаря чему последний надолго стал предметом маминых шуток. Сама же картина была сослана в деревню, и лишь редкая

возможность вновь увидеть ее скрашивала мой вынужденный отдых там.

Рассохшаяся от времени деревянная рама обрамляла неказистый натюрморт: бутылка из-под вина цвета травы, сиротливо стоявшая на газете, заменявшей скатерть; горбушка черного хлеба и несколько переспелых фруктов, то ли персиков, то ли яблок, нарисованных так, словно художник отродясь не видел ни того, ни другого. Однако, как уже было сказано ранее, это история о призраке, и призрак действительно был.

Незатейливая прелесть первой картины блекла под блеском той, другой, что затаилась под кожей холста, не отягощенная тяжестью чужих насмешливых взглядов, но лишь одного восторженного — моего.

Бледная, с сине-лиловым отливом штора качнулась под порывом ветра, очертив контур молодой девушки, стремившейся внутрь комнаты. Шероховатые мазки краски ласкали пальцы, пробуждая в голове какие-то новые чувства, от которых нестерпимо начинал болеть живот. Уродливая незавершенность ее лишь сильнее разжигала огонь фантазии. Мой личный призрак, моя дева в беде звала меня из нарисованной глубины, покачивалась и мерцала под порывом сквозняка и шептала только одно слово: «Спаси». Но я не спасла ее, я про нее забыла. Да, рыцарь забыл про даму своего сердца. Его подвигом стала работа в офисе, а его драконом — избалованная собачка размером с подушку. Такая сказка возможна только в нашем мире. Вечерами я пыталась писать, но тут же зачеркивала написанное; пыталась вспомнить, но сама не знала что. Однажды, между сном и дремой, призрак вновь явился мне. У него был запах весеннего ветра, а его силуэт обрамляла старая тюлевая штора. Как и двадцать лет назад, он простер ко мне руки, и я ответила на его зов.

Сколько еще таких Муз бьются в плену на оборотных сторонах картин, между выхолощенными стерильными



МАРИЯ НОВОСЕЛОВА

строчками книг, в одной-единственной искренней ноте посреди оттюнингованной фальши нового хита? Каким же будет мир, если их освободить? Хотела бы сказать, что знаю ответ, но я знаю лишь то, что готова отправиться на его поиски.

Белый щебень шуршит под старыми кедами, а спина ноет под тяжестью сумки, ляпка которой нещадно врезается в плечо. Медленно, но верно я приближаюсь к знакомому дому, увенчанному красной крышей. Взбунтовавшийся ветер выдирает штору из окна, и она рвется ко мне навстречу, протягивая белые тюлевые руки. Я знаю, что мой призрак ждет меня наверху, укрытый тенями чердака; что время нещадно истерзало его прекрасный облик, да и глаза, что помнили его красоту, уже не те, что раньше. Но каждому писателю приходит время вновь встретиться со своим призраком, чтобы выпустить его из клетки; им обоим будет о чем поговорить в эту ночь.

МАРИЯ ГУРОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ





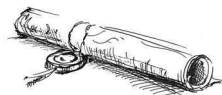
1. Пять ассоциаций* со словом «призрак».
Память, причина, усталость, отягощение, обычай.



2. Есть ли жизнь после смерти?
Не могу быть уверена (иначе это было бы странно), но нет. Воспринимаю любую метафизику как сознательное, возможное только в пределах физической жизни.



3. О чем эта история?
«Приложение» — это история о наследии. Наследникам по праву достаются и чужие блага, и чужие долги. Только нам решать, боимся ли мы образов прошлого и хотим их изгнать или почитаем и помним. Хорошо, когда у нас получается понять их и найти для призраков то самое «лучшее место».



В девичьей за그обного мира за прялками проводят века древнегреческая царевна, валькирия и средневековая дама. Как вышло, что ни одна из них не может покинуть комнату? И почему им нельзя говорить о возлюбленных?..

Пролог

Их просторная девичья была одарена всего двумя окнами, но высокими и светлыми, — на западе и на востоке. Обитательницы наблюдали восходы и закаты, а меж ними занимали дневные часы привычными делами: пряли, ткали и вышивали. Обжившись, они убрали комнату тремя видами звуков: грохотом ткацкого станка, разговорами и тихим дыханием, предваряющим сон. Станок гремел, опуская грузило, и будто ухал, как носильщик, скинувший тяжелые сумы ради передышки. Разговоры напоминали песни и были песнями. О былом легче пелось, чем говорилось, и потом — можно ли рассуждать спокойно о том, что уже никогда с тобою не сбудется? Когда и работа, и речь заканчивались, наступала тишина безвременья — отчетливо слышалась пустота места. Три девушки, которые жили здесь, провожали солнце: оно ныряло за вершины гор в западном окне. Потом они ложились спать и не видели снов. А наутро солнце карабкалось по небу, цепляясь лучами за взбитые облака, и с него летели золотые брызги прямо в водную гладь. Восточное море часто шумело, иногда успокаивалось, и тогда в нем плескалось еще одно светило, как близнец похожее на небесное. Впрочем, погода в обоих окнах не имела никакого значения: девушки не покидали девичьей и никого не ждали. Все три были некогда мертвы, а ныне живы в их огра-

МАРИЯ ГУРОВА

ниченном четырьмя стенами мирке. Не стоит о том грустить: они совсем не желали слез по себе и сами не предавались унынию — только воспоминаниям. Сознавая себя ныне мертвыми, девушки не ощущали тела ни бесплотными, ни неприкаянными, ни наказанными за прегрешения, ни одаренными за добродетели. Они в точности знали, сколько времени прошло с их смерти. Иногда ветра, которых одна из них называла Зефиром и Эвром, приносили им знания — бездоказательные и умозрительные, само собой разумеющиеся, которые производила на свет новая эпоха и сбрасывала всякий раз, как листву, сменяя взгляды. Отжившие листья долетали до их девичьей, врывались в окно и стелились у их светлых подолов. И тогда девушки снова заводили старые песни в надежде, что теперь они прозвучат иначе.



Эпизод I

ПЕСНЬ ОБ АЛЬДЕ

«Да не попустят бог с небесным сонмом,
Чтоб я жила, коль нет Роланда больше».
Пред Карлом дама, побледнев, простерлась,
Она мертва.

«Песнь о Роланде», CCLXVII

Немилосердная история разбросала лучших подруг по векам и землям, но, взглянув на души, смилостивилась и собрала их в странном месте, которое всем трем напоминала их девичьи. Они не помнили дней, когда жили бы здесь в одиночестве или в ином составе. Их бытность всегда являлась таковой, и триединство союза казалось единственно верным, хотя поначалу и непонятным: они долго искали причины распределения почивших людей в загробном мире. Упорно из века в век они рассказывали свои истории. Все три — Альда, Свава и Ифигения — при жизни были невестами великих мужей, чье сверхчеловеческое могущество прославило самих героев и каждого, кто имел честь стоять с ними рядом или даже против них. Вечную славу снискали их друзья, враги, отцы, мечи, кони и их возлюбленные. К счастью для троицы призраков, в девичьей собрали только последних. Ифигения суетилась слишком часто в нынешнем столетии, постоянно канючила как ребенок: «Давайте споем! Ну пожалуйста!» Она нервно теребила прялку — деревянную спицу с янтарной ступочкой — и твердила, что сейчас самое время говорить, а не наматывать нитки. Впрочем, Ифигении было простительно подобное поведение: хоть и царская дочь, а все же она была среди трех самой юной, если учитывать ее прижизненный возраст, в кото-

ром она простилась с миром. Но если уж говорить о возрасте культурном, то старше Ифигении ее подруги никого никогда не встречали.

Альда взглянула на царевну краем глаза, воткнула иглу в ткань, отложила пальцы в сторону и подошла к ткацкому станку, за которым с утра трудилась Свава. Откинув тряпицу с сундука, где хранились швейные принадлежности, Альда на ощупь нашла гребень — точно такой же, каким Свава подбивала ткань.

— Не стоит нам петь, — недовольно шикнула та. — Совсем недавно пели. Теперь что? Хочет болтать — пусть о своих богах болтает.

— А ты о своих! — гневно ответила Ифигения и как-то совсем по-детски дернула Сваву за косу, пробегая мимо.

— Не ссорьтесь! Неправа ты, Свава. У нас под ногами второй день шуршит листва, громче твоего станка.

Свава сделала вид, что про листву ничего не услышала, но ее выдала треснувшая нить. Не злятся люди так из-за порванной нитки.

— Не хочу ничего говорить! И ее слушать не желаю!

В ответ Альда миролюбиво разгладила растрепанную косу, которую дергала Ифигения, и пошла к виновнице спора. Альда сняла с Ифигении лавровый венок и принялась расчесывать ее жесткие, жирные кудри.

— Мне не впервой начинать, — ласково предложила Альда, и у подруг не нашлось возражений. — Оливье говорил, что франкское солнце сияет ярче. Оливье говорил, что Карл, наш славный, принес на Запад его. Все так: я видела солнечные лучи в разрезе узких окон. Пусть всего пару месяцев в год они делали зеленее лес, а небо — делали синим, словно покрывало Девы Марии. Оливье говорил, я родилась в день, когда минула декада с коронации благословенного Карла в аббатстве Сен-Дени. Большая честь, говорил Оливье, родиться в такой

ПРИЛОЖЕНИЕ

день. Праздник начался за двадцать ночей до и продолжался столько же после. Музыка, вино и гомон праздника заполнили весь Париж, никто даже не слышал, как долго кричала моя мать, пока я не пришла незваной гостьей в одну из комнат дворца. А утром взошло летнее солнце, которое сияло ярче прочих. Герцог с сыном пришли посмотреть на новорожденное дитя. Оливье взялся за край пеленок — так он боялся причинить мне боль, что вовсе меня не касался. Я ничего тогда не знала о любви, но, если бы знала, могла бы почувствовать, как он меня любит. Отец, исполненный счастьем, поспешил рассказать королю. И Карл сказал, что я — его благостное знамение, что Бог послал меня, чтобы он преисполнился радости, что он будет любить меня, словно я его дочь или сестра, и что отдаст мне в мужа лучшего из своих рыцарей. Он сидел тогда подле короля, юный и не знающий, что я сейчас меньше, чем любой из его подвигов. А после обедни пришел епископ, причастил мою мать, назвал дату крестин и до того запер нас в комнате, повелев заколотить все окна. Так солнце исчезло из моей жизни, едва блеснув в волосах моей матери. Но мне повезло родиться в тот день, под тем солнцем.

Я росла в тишине севера, где в сезон разливался Рейн. Мое детское любопытство, еще не укрощенное, приковало меня к брату. Чудесное время открытий, которыми он щедро делился со мною. Он говорил о поэтах, о музыкантах, о рыцарях, о святых. Император Карл собирает всех просвещенных мужей в Ахене, говорил Оливье, он хочет открыть академию. «Что же, и Оливье хочет стать ученым человеком?» — спрашивала я. А он отвечал, что прежде хочет стать паладином и только в старости займется науками, если Бог ему это позволит. Я бы тоже желала, чуть было не призналась я брату, однако сдержалась. Вовсе не хотела, чтобы он счел меня дурочкой и перестал на-

вещать. Оливье любил истории, любил их рассказывать. Чаще всего он повторял ту, где он стал рыцарем, а после — одним из двенадцати пэров. Еще была та, где он познакомился с Роландом. Их знакомство было многословнее и ближе, чем мое с женихом, перенесенное на будущую обещанную жизнь. Вся моя жизнь — это жизнь Оливье. Я тогда думала так: он проживает судьбу нас двоих. Кому ныне Карл отдаст это право — жить за меня, говорить за меня и любить за меня Оливье? Король обещал мне первого рыцаря. Имя Роланда носилось прытким галопом по устам поэтов и дам при дворе. Роланд любил Оливье, я любила Оливье, Оливье находил родство душ в нас обоих — он нас обоих любил. Не лучшее ли решение принял тогда король? Не Господь ли послал ему мысль скрепить нас тогда?

Четырнадцатую весну я встречала в новой тунике, с длинными рукавами на римский манер, расшитую по вороту жемчугом из Северного моря. Две золотые косы пролегли вдоль рено¹ — синего, как покрывало Девы Марии. «Невеста маркграфа Бретонской марки», — шептались девицы. Их перезвон пролетал, как подола платка. Сватовство состоялось в часовне при Ансени. Он был могуч, хотя я смотрела издалека, из-под платка, по-над толпой, протекающей между нами.

Я все меньше и меньше. Я все меньше имею значения. Франкское солнце сияет ярче меня.

Он говорил с Оливье, мне поклонился, а Оливье передал серебряный венчик, сказал, что подарок и что мне к лицу. Я носила его день ото дня, как крест. И на моем лбу отпечатался оттиск, темно-зеленый, как глаза Роланда. Я теперь всюду искала приметы его: в шепоте девушек, в следах от венца, в памяти Оливье. Я все меньше и меньше. В памяти Оливье я все меньше и меньше.

¹ Укороченный плащ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Если перечислить слова: Сарагосский поход, предательство, арьергард, Ронсевальское ущелье, закрытые глаза, — там будет все его. Там меня нет. Даже когда уже не было Роланда, он был больше любого из нас — и больше меня, конечно же.

Если король винился перед дамой и бороду рвал на себе от горя, звал сестрой, желая расплатиться с ней сыном — наследником (самим принцем!), — чтобы цена была за Роланда справедливой, стоило брать ее? Но там, за Людовиком, не было Оливье, не было вросшего в голову венчика. Какая часть Роланда была отведена мне? Больше славы досталось его Дюрандалю¹, больше поцелуев его Олифану², больше любви — его Оливье. Я все меньше и меньше, словно скоро исчезну. Если вас спросят, можно ли приказать сердцу, знайте, я приказала. Во Франкском государстве существует песнь о паладинах, о лжеце и короле, о Роланде, вернейшем из вассалов, и там есть я. Мне там пятнадцать строк.

Так закончив, она сидела, бессмысленно перебирая кончики умасленных волос Ифигении. Свава тоже молчала и больше не истязала ткацкий станок. Однажды остановившееся сердце Альды теперь мерно стучало — наверно, завелось по привычке, чтобы не напоминать ей о роковом решении. Свава, тысячелетие назад впервые услышав историю дамы, восхитилась: «Какая великая воля! Приказать своему сердцу перестать биться!» Но из раза в раз восхищение меркло, а ветра не



¹ Меч Роланда.

² Рог Роланда.

подбрасывали им в окна новых идей. Ифигения поправила:

— Нечестно. Ты же говорила, что они дописали. — Она обернулась через плечо: — Ведь дописали!

— За сотню с лишним лет я выросла из пятнадцати до двадцати шести, но также в них вошла, чтоб умереть, — согласилась Альда.

— Нечестно и это, — нахмурилась Ифигения.

— Ты о себе думаешь, когда говоришь, что нечестно, — недовольно пробурчала Свава.

— Что толку быть первой дамой двора и первой дамой в рыцарских песнях, если все, чем я оказалась приглядна, была только смерть? — одернула обеих Альда.

— Ты что же, жалеешь о своей любви? — Мысль взбудоражила Ифигению, она юрко развернулась к Альде лицом и села на кровати.

Находя их судьбы похожими, она рвалась в ее ответах разглядеть свою долю и найденное прибрать. Ифигения вела себя как жадный ребенок, а Альда была щедра, но бедствовала: ее алтарь не украшали новыми стихами. У нее вовсе не было никакого алтаря.

— Нисколько не жалею! Кто бы пожалел? Невеста Роланда — это много больше, чем ничего. У других ведь ничего. — Слова шли вразрез с чувствами, Альда шмыгала носом и сдерживала слезы.

— Поплачь, родная, — Ифигения гладила ее по спине.

Земные годы Альды раскинулись как ахенский сад и цвели все отведенное ей время. Она любила и иголки, и беспросветное ожидание, и робкие взгляды, и колокольный звон, зовущий на вечерню. Хотя у каждой здесь нашлось представление о загробном мире, Альда была в высшей степени не согласна с происходящим и одновременно с тем смиренна. Она утверждала, что чистилище приняло образ девичьей и что Господу еще пред-

ПРИЛОЖЕНИЕ

стоит взглянуть на их души и определить место каждой. Свава и Ифигения — язычницы, с их положением ей все было понятно. Но сама она, добросовестная христианка, чем провинилась? Видимо, чем-то. Теперь Альда упорно искала изъян в себе и своем прошлом. Но беда была в том, что в нем не было ничего, кроме любви и смерти, — прямых доказательств ее прилежной верности, чистоты и непогрешимости. Теперь, разочарованная собой, Альда плакала. Но Свава не любила, когда подруги рыдали. Да о грехах она знала только в пересказе Альды. Свава нервно оттолкнулась от вертикали станка и процедила Ифигении:

— Чего ты прицепилась к ее любви? Ты-то здесь при чем?

— Я его любила! — вспыхнула Ифигения.

— А он тебя?

— Перестаньте, пожалуйста, — потребовала Альда, но в свойственной ей одной мягкой манере.

Они безмолвно дулись какое-то время, и день замер на мгновение, чтобы ночь не наступила раньше, чем последняя споет. Ифигения не сдержалась.

— Если в пример поставить Сваву, — начала она, на что упомянутая девушка только смиренно вздохнула, — то выходит, что можно было сделать все то же самое, что и они, а взамен не получить того, что причиталось им. Что такого делал Роланд, что?..

— Помолчи, царевна, — перебила ее Свава. — Мы здесь о них не говорим...

— Ведь говорим же!

— ...в отрыве от себя, — настояла Свава.

— Нелепое правило, — недовольно сказала Ифигения. — Ладно, неважно, что делал он. Что бы ты хотела делать, Альда?

— Будь точна, я не понимаю.

— Как иначе ты бы хотела прожить свою жизнь?

МАРИЯ ГУРОВА

На том уже и Свава наострила уши. Она сама не раз задевала подруг непристойными для мертвых вопросами.

— Так бы и хотела, — спокойно ответила Альда и перестала плакать.

— Просидеть всю жизнь на женской половине и умереть девицей? — уточнила Ифигения.

— Да, — уверенно подтвердила она. — Сидеть на женской половине, любить Роланда и умереть оттого, что его больше нет.

— Потешаешься, что ли? — с сомнением спросила Свава. — Ты что, была проклята любовным зельем?

— Не была я ничем проклята! — Альду возмущали их сомнения. — Я любила свою жизнь, и была бы счастлива только с Роландом.

Они все упирались в вопрос «могло ли быть иначе?». Мертвые легко задавали его друг другу, но для себя самих ответов не находили. Получалось так, что они желали все, что возымели. По крайней мере, это касалось троих призраков в девичьей. Внезапно Ифигения воскликнула:

— Очередь Свавы петь!

— Кто решил, что моя? — ощерилась та в ответ.

— Мы, — ответили они дуэтом и, довольные единоглашием, разлили по девичьей смех.

Свава прошла по комнате, подметая лиственную труху льняными полами платья. Подхватив веретено, она отщипнула немного шерсти и приготовилась говорить. Свава всегда занимала себя работой, пока пела, потому что лучше всего ей удавалось петь и работать. Ее прижизненный промысел остался с ней навеки.

Эпизод II

ПЕСНЬ ВАЛЬКИРИИ

Сделаем ткань
Из кишок человеческих;
Вместо грузил
На станке черепа,
А перекладыны —
Копья в крови,
Гребень — железный,
Стрелы — колки;
Будем мечами
Ткань подбивать.

*Песнь валькирий,
«Старшая Эдда»*

Свава пела протяжно, и голос у нее был низкий, с надрывом и хрипотцой, не свойственными девушке. Но ей и петь приходилось дольше: на то было несколько причин. Первая — судьба ее насытилась событиями вдоволь. Она была полнее, чем судьбы двух подруг, вместе взятых. Свава затынула:

— Датская осень несется листвою, на тихий залив спускается рябь — то корабли отцовского флота вернулись домой зимовать. Хальвданов чертог зашумел, потеплел. У очага разложили щиты. На кожаной кромке остатками плоти залег неприглядный узор. Не кости ли это убитых врагов? Не кожа и зубы присохли на краске? Но женщина, та, что готовила мясо, закинув на щит олений обрез, меня попросила ей не мешать. «Шла бы ты, Кара, отца привечать. Конунг вернулся с добычей и славой. А ты все сидишь у огня».

С чего бы там быть человеческой крови? С чего бы мне знать, что бывает с щитом? То было беспечное девичье время. А после я вспомнила все. Здесь все мои дни: они горестным весом легли пред глазами в сюжет полотна.

Мой ткацкий станок заменяет мне вельву. Я здесь, чтобы ткать стяг боевой¹. Лен собираю по бранному полю, пряжу из жил подбиваю мечом. Вместо грузил на станке черепа, а перекладыны — копыя в крови². Кто еще ее видит на моем хангерке?³ В косах запутался лебязий пух и стойкий, железный, тягостный запах. Чешу гребешком багряные нити. И волос мой рыжий от крови чужой. Кто еще это видит? Почему все молчат? Я часто хожу по промерзшей земле и делаю все, что мне велено делать. Вот я тку шерсть на приданое сестрам. Вот я тку стяг на погибель врагам. Вот несу чашу, полную меда, ярлу Гельсвону, он еще жив. Вот несу чашу, полную меда, ярлу Гельсвону, он уже мертв. Вот мой отец, вот и наш Всеотец. Вот он мой дом и рядом Вальгалла: путь недалек, стоит быть вам крылатым или же мертвым. Я терплю столько жизней, уставая от каждой. Высокая честь.

Вторая причина многостишия ее песни была не очень честной по отношению к Альде и Ифигении. Свава мало того что заполучила жизнь яркую и свободную, так еще и не одну. Закончив историю под именем Кары — о своем третьем обличье, она запела о втором — о Сигрун. Она часто переставляла их местами, меняя порядок, будто оттого могла измениться суть. Может, она и менялась.

— В Эстерготланде лето. Воины конунга Хегне полгода в набегах. Мы ходим за ними назойливой сворой. Нас девять таких, неприкаянных дев, обремененных мечами и копиями. Подола — тела павших тянутся вдаль. Никто нас не тронет. Мы стоим, не страшась, среди поля боя, бурлящего в море. Мы в рубахах и платьях, в платках

¹ Цитата из «Цитата из «Песни валькирий» и «Прорицания вёльвы» Старшей Эдды», «Старшая Эдда».

² Там же.

³ Часть женской одежды, похожая на сарафан.

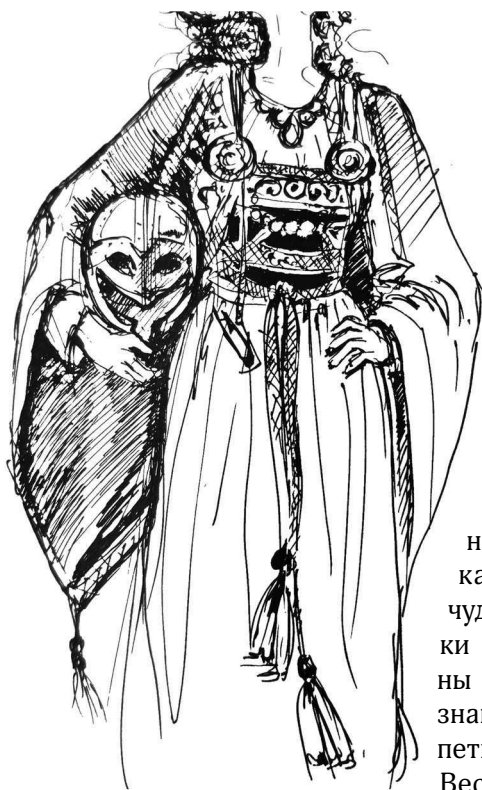
ПРИЛОЖЕНИЕ

и плащах. На поясе каждом висят гребни, ножи, костяные иголки, латунные пряжки и шкуры зверьков. Мы не носим кольчуг, нам не нужно щитов. Наша броня — это званья валькирий. Нас не тронет никто. Мы не ведаем, как сражаться на врученных Одином копьях.

Викинги кличут нас «песнями битвы», будто слышится стук и слышится лязг, «бурею копий», «бурю мечей», словно видится смерть. Но мы просто стоим, не гремим, не кричим и не бряцаем сталью. Мерещится то, что им хочется ведать о девяти неприкаянных девах. Им просто спокойнее так умирать. Мы должны так стоять — матерями, готовыми их обнять.

Распоясалось буйное теплое лето, распустилось в горах цветами для пчел, я вернулась к чертогу отца повзрослевшей, крепкой девицей в пестром венке. В доме Гранмарра ждет уж полгода меня нареченный жених Хедброддар. Право жить терпкую смертную жизнь, как бы лишней она ни казалась. Мне нужно рожать румяных детей, чтобы чаще живых обнимать. Моя мать во мне узнает черты конунга Хегне. Мы сидим по обе руки от него. В Эстерготланд заходят ладьи с парусами Хельги Хаддингьяскати. Я узнаю, едва он ступает на берег. Хельги — я его назвала, чьим бы сыном он ни родился. Он не знает меня, он влюбляется снова. Он влюбляется, будто впервые. «Я — дочь конунга Хегне, меня зовут Сигрун». Взгляды беспечно ласкают друг друга, как ладони супругов разлученных. Он просит отца расторгнуть помолвку с гранмаррским сыном. Я молча стою. Знаю, как будет, — немой наблюдатель геройских смертей. Хельги уходит на битву с Хедброддром. Хельги уходит туда убивать, Хельги уходит опять умирать. Все, что свершается, — это опять.

Когда Свава заговаривала о любви — в любом из трех воплощений, она без умысла возвращалась в начало — когда она родилась в семье конунга Эйлими, который на-



звал ее Свавой; когда она впервые встретила юношу, который ради нее будет три жизни носить имя Хельги. Ифигения поглядывала на нее с завистью, но валькирия взглядов на себе не замечала, а продолжала рассказ:

— А, этот мир мне непонятен! Буйной эпохи звонкая песня. Дикое место, чудесное место. Руки мои крепки для меча, ноги мои сильны для походов. Конь мой, не знавший тяжесть седла, трепетно носит меня над грозой. Весенней грозой — хохотом Тора. Крылья мои (иль жеребца) первого солнца совсем не боятся. Мать посмотри, отец погляди, как все легко мне поддается! Восемь подруг белою стаей слетаются на девичник ко фьорду. Они говорят, я прекрасна настолько, словно сама Фрейя, как куклу, из светлых волос и свежего сена вязала меня в подарок миру. Он видит меня непристойно счастливой, сильной и юной, без зимней одежды. Уже потеплело. Я простоволоса. Я только и знаю, что все мне подвластно. Он смотрит, нас девять стоит на холме, упрямо подходит и тяжело молчит. «Я — Свава, дочь конунга Эйлими». Но он молчит, неназванный отрок. За что безымянным ходит по свету? Иль жалко родичам имени было? А он, не представленный, мнетя, краснеет, как сельский дурак. И я смеюсь. Ему говорю: «Хочешь, дам тебе имя?» А он кивает и глаз не отводит. Ему говорю: «Ты будешь Хельги». А он кивает. И я вспоминаю все то, что случится. Это так странно, что я такая.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Когда Свава говорит о последнем воплощении, она становится похожа на старуху — на неприветливую вдову, которую позабыли ее дети и внуки.

— Мы ткем, мы ткем стяг боевой. Что нам теперь не ткать себе платья? Третья жизнь — уютное место, чтобы осесть и остепениться. Мне все здесь знакомо, мне было бы странно, если бы Хельги ко мне не пришел. Он носит мною тканное имя, его украшая отцовскою брошью. Его первое имя больше мое. Пусть надевает, как княжеский плащ, что раздобыл в первом набеге. Нам первое все не впервые. Так осень приходит, чтобы мы одевались в шерсть, чтобы чаще живых обнимали.

Четвертой жизнью боги ее не одарили, потому что и богов тогда уже не было. Когда валькирия должна была снова прийти в знакомый ей мир, боги скандинавов уснули.

— Город пустой. Забытый очаг в незнакомом чертоге, похожем на наш. Сквозь обветшалую старую кровлю ложатся на стол седые снежинки. Вдоль по дороге, между домами — реки людей, остывших, подгнивших. Старое место, древнее место. Сквозь черные чрева кусты проросли. То белый вереск, что на подошвах несли их убийцы из новых земель. Здесь лежат все, что решили остаться, другие ушли через море. Кузнец, что баюкает грозный топор. Рыбак, что лелеет детские кости. Но где я, но где я? И где же мой Хельги?

Если бы в их девичью приходили сны, Свава иногда бы в них кричала. Возможно, она бы просыпалась, повторяя вопросы. Пусть не ее имя, но ее образ износился в веках: его всегда желали воины, как благословения и награды. И даже те, кто воинами не был, хотели себе валькирию. Листва приносила ей дурные вести, и Свава чахла, представляя себя той, которой ее изображали потомки. Она

никогда не хотела воевать, она даже не умела сражаться. Последние два раза, как в девичьей пели, Свава оправдывалась напоследок:

— Я вижу останки, что мирно сложили, успев их собрать в могильный покой. Кузнец, окруженный серебряным кладом. Рыбак, что навеки уснул с сундуком. И женщина в мирном богатом убранстве: кольца, браслеты, хрусталь, сердолик, ивовый гребень, сияющий меч, не пивший крови, не видевший битву. Тело ее без грозной печати: ни переломов, ни шрамов, ни силы в старых костях, украшенных золотом. В чертогах постель тихо качает прах замученной молодой дроттнинг¹. Ей не повезло быть непогребенной. Но даже та женщина — это не я. Я же внутри ее свода из ребер. Нелепый остаток птичьих костей. Как не родилась? Почему не пришла? Как теперь викинги? Как же мой Хельги? Но его нет, он больше не к месту. И без него я совсем не нужна. Без Хельги, без воинов и без Вальгаллы я не пою: никто не услышит ни лязга мечей, ни бури копий. За мертвою залой девичьи спальни. Там позабытый ткацкий станок. И словно на струнах массивной тальхарпы играет мелодию западный ветер. И падает снег, и в снежном потоке, едва различимый, лебяжий пух.

После ее песен всегда тяжело давалось молчание, а разговоры и вовсе были невыносимы. Присутствие войны в судьбе валькирии вытесняло ее любовь. У нее было так много жизней, и в каждой жизни — было многое. Ее загробное приданое вместило опыт взрослой женщины, которой случалось не только хозяйничать в доме, но править в нем, покуда иные правители уходили в набеги. И, конечно, она знала о прикосновениях и поцелуях много больше своих подруг — хоть что-то да знала. Свава надеялась бродить между столами в Вальгалле, подливая

¹ Королева, жена конунга.

ПРИЛОЖЕНИЕ

эля в кружки трем отцам, и украдкой бросать взгляды на Хельги. Но, как и Альда, она оказалась в том месте, на которое меньше всего рассчитывала. Отличительная черта ее натуры заключалась в противоборстве чуждому. Свава в точности знала свое место — в семье, в походе, в битве, в чертоге Одина, в памяти человеческой. Когда же ее права попирались, она негодовала открыто и восставала против обидчика. У нее всегда получалось отстоять себя. Но в этой девичьей... Она осталась наедине с немощью отжившего предка, бессильного перед всемогущим потомком. Шум ветра приводил ее в неистовство, она цеплялась за перекладины станка, в надежде вырвать их и почувствовать в руке копые. Но будто бы она могла им воспользоваться...

У каждой из обитательниц девичьей хранилась своя вера, но каждая слышала хоть раз, что мертвые могут доминировать живых — приходиться к ним во снах; выть неуспокоенными в домах; охраняя места и желая мести, по своему разумению находить вещам пользу. И людям приходится бороться со злыми духами, чтобы освободить из их оцепеневших пальцев то, что должно наследовать живым. А оно вон как все вышло. Правнуки терзали их наследие то в глупости своей, то из тщеславия, рядя образы прошлого в нелепое убранство. Непонятно было и то, лучше ли так или когда тебя вовсе не вспоминают?

Альда всегда была так далека от битв, что видела войну только в лицах вернувшихся баронов. А Свава то шла с обозом, то летела с крылатой конницей — и знала в точности, как люди убивают, как вылетают из тела осколки костей и брызги крови, как нелепо скрючивается тело, которому переломали хребет, как умирают пленные на коленах и раненые у костра. Нить ее судьбы, о которой говорила Ифигения, была вшита в полотно битв. Сама Свава погрузила в культуру воинов руки по локоть, как во вспоротое брюхо жертвенного оленя. Ей было не страшно, не

МАРИЯ ГУРОВА

печально и не тошно уже в первой жизни, потому что свежевать героическое наследие — ее работа. Но она не сражалась. Ветер обдавал ее лицо пересудами, но она почти кричала, что никогда не сражалась. Для нее это так важно — быть спутницей героя, но не быть героем. Поэтому и не могла примириться с Ифигенией.

— Это нечестно, — раздался ее тонкий голосок.

Свава низко хохотнула, разулась и, с обувью в руках, прошлепала босыми ногами к ложу у западного окна.

— Да? И что на этот раз кажется тебе нечестным? — смешливо спросила валькирия.

— Что тебя не отправили к отцам, как ты мечтала. Ты не должна быть среди нас...

— Что ж, помолись Зевсу, чтобы он передал твои слова Одину, если им доведется встретиться, — безучастно предложила Свава и легла на застеленную перину. — Но сомневаюсь, что у них будет повод...

— Я хочу сказать, что ты была, ну, почти... самостоятельной, — перебила ее Ифигения.

— Царевна, — Свава обратилась к ней одновременно понимающе и жестко, — я не желаю быть самостоятельной. Я действительно мечтала провести вечность до Рагнарека на пиру с Одним, предками и любимым. Вот и все. Не пытайся заручиться моей поддержкой. Это ты ненавидишь своего отца...

— Я его не ненавижу!

— ...за то, что принес тебя в жертву, жениха — за то, что не защитил, всех полководцев и воинов, жаждущих твоей крови. Свою ношу носи сама.

Ифигения надулась. Их немую войну оборвала фраза.

— Я любила их, — призналась Ифигения.

Эпизод III

ДО СПИСКА КОРАБЛЕЙ

О, мы с тобой ничто перед Элладой.

*«Ифигения в Авлиде»,
Еврипид*

— **Д**о какого момента? — уточнила Свава, она без интереса рассматривала деревянные балки под потолком. — Пока плыла в Авлиду? Пока ждала встречи в шатре?

— И после любила!

— И когда нож жреца полоснул твою плоть?

— Хватит! — тихо попросила Альда и от ужаса пере-дернула плечами.

Утонченная внешне и внутренне, она бы стала во всех смыслах первой леди Европы. Альда даже умерла тихо и безропотно, никого не обвиняя, не кляня, не сокрушаясь о выпавшей доле, не противясь. Не применяя к себе оружие. Было удивительно, как последователи убеждений о том, что величайшие женские добродетели — это податливость и послушание, не учли ее великолепный образец. Свава умирала всякий раз от старости или тоски, в одиночестве, без мужа, не принеся в мир детей — очень неприглядная смерть. Ладно валькирия, а царевна? Ифигения и вовсе заканчивала жизнь, как женщины, которые провинились в чем-то ужасном, — она испускала дух, а на нее смотрела толпа и желала ее скорой гибели. Альда успокаивала непримиримую подругу, говорила, что им еще повезло.

— В чем же нам повезло? — вопрошала Ифигения.

— Господь одарил нас новым испытанием вместо того, чтобы просто наказать, — отвечала смиренная Альда.

— Да почему опять наказывать-то? Что я сделала? — чуть не плача жаловалась Ифигения.

— Возможно, за то, что каждая из нас возгордилась, — предполагала Альда.

— Не вижу своей в том вины, — возмущалась Свава. — Я имела право гордиться. И царевна. И ты имела.

— У всего должна быть мера, и у гордости тоже, — объясняла Альда.

— Ну-ну! — отмахивалась Свава.

— Поощрение это или наказание, а других женщин я здесь не нахожу, — продолжала Альда начатую мысль. — Где наши матери и сестры? Где подруги и прислужницы? Ты помнишь их, помнишь, как их звали?

— Я не помню, — отвечала Ифигения.

— И я не помню, — вторила Альда.

— Только имя матери, — поправлялась Ифигения.

— Лишь имена матерей и валькирий, — добавляла Свава.

— Вам повезло, — радовалась за них Альда. — Но и тех здесь нет.

— Так мы наказаны или вознаграждены? — хмурилась Ифигения, когда спрашивала.

— Мы заперты — понимай это как хочешь, — говорила Свава, и на том обычно разговор заканчивался.

Царевна доподлинно помнила, как уходила, и чувствовала память о себе — ее нашлось больше, чем у валькирии и дамы. Когда тысяча сто восемьдесят шесть ахейских кораблей застряли в штале у берегов Авлиды, жрецы и многоумный Одиссей не придумали ничего лучше, чем умилостивить прогневанную Артемиду ценной жертвой. Возможно, дело заключалось в отце Ифигении. Агамемнон спесивым характером и премногим тщеславием, положенными царю всех царей, сумел занять немало

ПРИЛОЖЕНИЕ

врагов, которые, хотя и не могли поднять головы, склонившись перед ним, искали повода ослабить гордеца. В стремлении колоть друг друга, цари ухитрились сделать последний день Ифигении настолько болезненным, что впротiwу жертвенному ножу на весы ложилось разочарование — в семье, любви и себе — первое и единственное. Ифигения ехала в стан невестой Ахилла и в конце дня действительно преклонила колени перед алтарем.

Она рвано выдохнула и успокоилась, снова вспомнив занесенный над ней жреческий нож. Скрестив пальцы, Ифигения запела:

— В Элладе мы всегда стремились к двум вещам: к божественной любви и к той победе, что нас отождествляла с богом. Умасленный бегущий олимпиец не меньше счастлив был влюбленного, снискавшего взаимности. Мне, лучшей из невест, сулил Атрид Ахилла. И в имени его есть описание всех его достоинств: он ими убран так роскошно, как я в свою фату, браслеты, диадему. «О, Ифигения, гонец прибыл вчера!» Я всю дорогу до Авлиды так нежно гладила дощечку от отца — то место, где в письмо вмещалось имя.

«Ахилл», «Пелидов сын», «Ахилл...». Я пальцами касалась и победы, и той любви, что родственна победе. К свершениям дорога неизменна: где греческие части слились в единый стан, там за главу был царь наш Агамемнон — мой отец, за пламенное сердце — Ахиллес, мой нареченный. Я к лагерю приехала, как к дому, хотя здесь места нет таким, как я, рожденным жизнь давать, не отбирать. И что здесь я? Чем я могу помочь? Как сделаться полезным веществом в здоровом теле, чтобы его своим присутствием не портить: не отравлять, не раздражать, не тяготить? Есть таинство войны, закрытое для женщин. В шатре темно и беззаботно, а свет извне смущает и печет.

Ужасный день. Назло сияло солнце, к беде на мне наряд для свадебных пиров. Я помню, он красив, и даже ныне

свахой нам я выбрала бы смерть. Я помню плач, положенный на свадьбе. Вот едкий парадокс, что в панику бросает: я — девушка, я ею рождена, мать воспитала меня так, как подобает быть воспитанной царевне; мне посулили то, что мне положено, — а это есть и право, и наказ. Едва бы я ослушалась, меня бы порицали. Что сейчас? Меня толкают позабыть заветы, мечты, что были возвращены во мне, и изменить упрямой парадигме, чтобы... чтоб снова угодить? Все дело в том, что я не понимаю, за что из всех мужских забот мне отдают ту самую, что смерть во имя достижения победы. Ту участь, что не выберет и раб, желающий возвыситься хоть в чем-то.

О, мужеская честь есть то, что крепче стали, но хрупкая, как амфора из необожженной глины. В таком же типике находится Ахилл. Он здесь затем, что пообещали ему отец мой, дядя, Одиссей. Он в гневе, я — в слезах, и если мизансцена напоминает брак, то где любовь и где ее победа? Я — ручка амфоры (метафоры о чести), которую он рвется защищать. И в рваных, хаотичных разговорах узнаю, что он с такой же долей смирился: «Мне смерть обещана на той войне, но в Трое я добуду себе славу и вознесусь подобно Геркулесу».

Ифигения запнулась, как если бы вспомнила что-то важное. Но потом мотнула кудрями и прогнала незваную мысль. Они его обсуждали несколько раз — героизм. Героем можно стать, снискав славу в бою. Поэтому Ифигения не раз мучила валькирию вопросами. Божественное бессмертие всегда сопрягалось с битвами, таков ритуал — чтобы обрести вечную жизнь, нужно отобрать множество чужих. Подходили любые враги: и чудовища, и смертные. Правда, последних требовалось много больше. Тогда Ифигения говорила подругам: «Чтобы ценность подвига была так же высока, как, скажем, за лернейскую гидру, нужно убить великое множество людей».

ПРИЛОЖЕНИЕ

— И кого бы ты отправилась убивать, царевна? — задирала ее Свава.

— Не знаю. Наверно, никого, — честно отвечала Ифигения.

— Думаю, это причина, по которой ты умерла.

— Как же это?

— Вместо кого тебя повели на алтарь?

— Не понимаю, — растерянно говорила Ифигения.

— Вместо какого животного?

— Жрецы сказали, Артемида прогневалась из-за лани, которую отец убил на охоте...

— Ни ты, ни лань не могли дать отпор, сколько ни брыкались, — объяснила Свава. — Лань не чудовище, ты не воин, и обе вы всего лишь жертвы. Понимаешь?

— Да, понимаю, — грустно соглашалась Ифигения.

А теперь она вспомнила их препирания, прежде чем продолжить песню:

— «И это все? Ты здесь ради бессмертия? — мне жалко умирать, пусть мне бы посулили место в небе». А он молчит, не знаю почему. Но думаю, что есть еще причина. Как мне найти такую же себе?

И я ищу ее в залегших складках льна, в игристом перестуке золотых подвесок, в золотых кудрях и в золотых надеждах. Копнув горстями память, ищу в звуках кифары, в любимых танцах. Ныряю в чаянья, надеясь там увидеть повод взойти на тот алтарь, но вижу рой детей, похожих на Пелида, и царский трон во Фтие, может, старость. Там нет резонов мне идти на смерть и кровью изливаться пред очами ахейских воинов. Они уже кричат. Меж нами ткань шатра и тело Ахиллеса — вот причина. Я не желаю быть Еленой, не желаю, чтоб за меня стремились убивать. Я жизнь даю, ее не отбираю, я здесь затем, зачем все войско здесь. Я их спасу: я встану между ними и гневом Артемиды. Меж поражением в войне и той победой, что нас ведет к любви. Он смотрит на меня, тем поучая, за что

сражаться ходят на войну. Эллада назидательно ворчит, что быть Еленой плохо и бесчестно. Так пусть живет она. А я умру.

Ни ветерка, ни волн на берегу. Так слепит рать сияющих доспехов, что кажется, на землю пало небо. Я отрицательно качаю головой, когда несут веревки. Мне лестно вставать в строй склоненных мирмидонцев. Царевной не сумела я им быть. Он шел со мной, не отданный жених. Мне панцирем служило восхищение. *Что ж, я герой теперь?*

Царевна умолкла и глубоко задумалась, будто на лицо ее примостилась театральная маска мудреца с глубокими морщинами, натруженными в раздумьях. Ифигения уронила прялку, янтарная ступочка отломалась от деревяшки и покатила по полу, стукнувшись о порог. Порог у них был — дверей к нему не нашлось. Она произнесла то, что никогда прежде не говорила:

— Но имя Ифигении не вписано ни в список кораблей, ни полководцев. Никто меня не мерил с Одиссеем, никто меня с Аяксом не равнял. *Я тот герой, что, в общем, им не стал. Мне просто не придумали название.* Нет слова в нашем пестром языке, чтобы назвать деяние, как подвиг, но подвиг вне войны. Чтоб я была чуть больше, чем царевной, какие там остались доживать. О, неужели, чтоб не быть короной, ведомой к гекатомбе на убой, так надо нести жертву любовно?

Послышался скрип, но никто из трех не решился отвлечься на такие мелочи, как давно позабытые звуки. Ифигения скомкала тунику на груди и громко затянула:

— Все тысяча сто восемьдесят шесть легли на дно истории громадой, надгробным камнем на братском погребении: мы поколение героев и их шлейф. Мемориал, исполненный на вазах, записанный в стихах. И где-то на

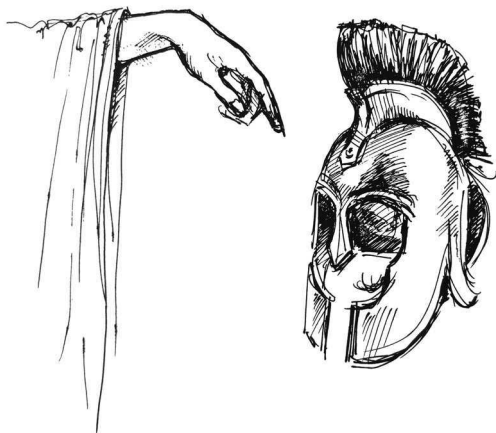
ПРИЛОЖЕНИЕ

стыке между ними — промеж кургана из неназванных имен и всех имен в лавровом окаймлении — приют нашелся мне. Пусть место незавидное мое на той меже ничем вас не прельщает, но я приду сюда, коль снова будет надо. Мы здесь такие все.

Допев, Ифигения, сквозь прищур взглянула на северную стену. В ней, будто всегда так и было, появилась дверь. Открытая дверь. Ифигения встала и протянула руки навстречу свободе, у которой не было образа — никто из девушек не знал, как она выглядит, а потому и теперь бы ее не различили, возникни свобода в дверном проеме. Все три поняли, для кого дверь распахнулась. Тогда Ифигении стало страшно, она отпрянула, словно ей предстояло умереть второй раз.

— Все хорошо, милая, иди, — с теплом отпустила ее Альда.

— А вы? А как же вы? — Глаза царевны покраснели и налились слезами, такими живыми и горячими, что девичья, не привыкшая к оголенной чувственности, почти вытолкнула Ифигению прочь. Будто теперь не стены притесняли Ифигению, а Ифигения теснила стены.



МАРИЯ ГУРОВА

— Нам еще не время, царевна, — объяснила мудрая Свава.

— Мы вряд ли еще встретимся, — плакала Ифигения, и Альда, легко оттолкнувшись от кровати, поспешила обнять подругу.

К ним подросла и Свава, позабывшая их бытовые распри. Так, утерев друг другу слезы, они простились. Ифигения вышла из их тихой девичьей — вовсе никакого не чистилища, а места гнездования. Переждав зиму, в лед которой вмерзла прошлогодняя листва, Ифигения застала свою весну и отправилась туда, где для отважной царевны нашлось лучшее место. Дверь так и осталась нараспашку. Всю ночь девушки спали, ворочаясь и жалея, что не видят снов.

Наутро к ним пожаловала нежданная гостья. Они удивились, что она наведалась так скоро. А может, прошло уже достаточно времени? Растерянная и смущенная, гостья не решалась входить. Хотя она стояла на пороге, незнакомая и непредставившаяся, а лица ее не было видно — так ослепительно светило солнце, что лучи сочились из-за спины золотым ореолом, — Альда и Свава разглядели в девушке обещание долгой и крепкой дружбы. Руководствуясь законами гостеприимства, они поклонились и пригласили ее войти. Водворенная гостья ответила поклоном и робко ступила в девичью. Подруги откуда-то знали, что гостья их простилась с жизнью, что на ее короткий век легла грозная тень войны, что любила она славного героя и что наверняка у нее есть история, которую следует спеть.

ДЖЕК ГЕЛБ



ЗАПАХ
МХА





1. Пять ассоциаций* со словом «призрак».
Сон, видеть сквозь сеть, колышется на ветру, совсем рядом, до нутра.



2. Есть ли жизнь после смерти?
Кто знает? Не у всех есть жизнь перед смертью.



3. О чем эта история?
Рассказ навеян прогулкой в лесу.



Запах мха. Такой обволакивающий, мягкий. Наверное, уже давно смешался с ощущением от прикосновения, потому мне и кажется запах мягким. Укутаться и проспать бы целый день.

С такими мыслями я приоткрыла глаза. Россыпь полупрозрачных пятнышек-теней бегала по тенистой опушке. Солнце играло с ними в салки — мешанина светлых и темных пятнышек, которые носились друг за другом, пока ветер трепал деревья, как игривый щенок. Воздух был напоен запахами и шумом. Больше всего слышался мох — наверное, из-за сырости после ночного дождя. Помню, как услышала мерный стук в окно машины еще до того, как открыть глаза.

Мы приехали поздним вечером, занесли вещи в дом. Дорога заняла чуть больше времени, чем обычно, — пришлось объезжать дерево, упавшее прямо на дорогу. Доспав эту ночь, я проснулась в таком трепете! Удивлена, что мое сердце вообще способно чувствовать нечто похожее. Сейчас, в дневном свете, дача выглядела совсем не так, как я запомнила ее в детстве. Лестница, с которой так было страшно снова упасть, казалась не такой крутой, а зловещий чулан был беспощадно выпотрошен, и вся рухлядь и мусор были выброшены на свалку у третьего въезда. Дом выглядел пустым, лишившись бесполезной мелочовки вроде уродских фигурок, выцветших календарей за 2011 год, ненужных су-

вениров из городов, которые уже, кажется, сменили названия. Сиротливо тянулись полки, оставленные без привычной старой и бесполезной ноши, и как будто ждали, когда новые хозяева вновь захламят их своими приятными пустяками. Родители еще спали, а я, ранняя пташка, уже переобулась в резиновые сапоги и отправилась исследовать местность.

Хоть и проводила тут каждое лето, когда училась в школе, сейчас я заново открывала для себя деревню. Забавно получается — лишь приехав второй раз, можно по-настоящему удивиться любой мелочи. Первое впечатление — ну дом и дом, ну березка. А приехав во второй раз — да ну? Почему соседи решили переложить крыльцо? Раньше мне нравилось больше. И даже березка захирела! И так с каждым закутком. Мне было с чем сравнить, поэтому каждый новый приезд на дачу сулил маленькие открытия, которые я подмечала. Все необратимо менялось, и сердце было открыто этим переменам.

Меня окружал воздушный поток, не свойственный городу, его душной суете. Это было блаженство. Как будто тело долго томилось в колодках, и наконец оковы спали. Сперва даже немного больно, но эта боль — признак того, что я еще жива. Наверное, не стоило так вот сразу ринуться носиться по лесистой местности — в боку что-то болезненно заныло. Дорога сулила немало трудностей: корни деревьев гнули спины, точно дворовые кошки, и так и норовились ухватить за скользкие сапоги. Вязкая грязища жадно чавкала и затягивала, отчего каждый шаг давался с трудом. Но я была рада той тяжести, которая на меня обрушилась, — именно благодаря ей чувствовала себя как никогда живой.

Продолжая свой путь, я оглядывалась по сторонам. Странное предчувствие не давало покоя: что-то должно мне открыться, и я с нетерпением ждала этого часа. Эти места были знакомы, и чтобы в них заблудиться, надо было на славу постараться. Сквозь деревья то тут, то там мелькали дома нашего поселка и соседей. Деревенские

рано просыпаются. Вид людей, пусть и незнакомцев, успокаивал мою душу.

Но что-то мелькнуло меж деревьев. Что-то неожиданное проступало, просачивалось маленькими кусочками меж стволов. Вернее, отсутствие кое-чего привычного, что непременно должно быть сейчас здесь. Забор. Длинный забор-сеточка, овитый какой-то странной порослью. Никогда не понимала, в чем смысл этого дурацкого нагромождения старой жести. Сквозь него все видно — пустырь, некогда служивший парковкой — в то время, когда старые гаражи еще не развалились от времени и тяготящей ненужности. Но больше всего манило длиннотелое здание из красного кирпича. Что-то похожее на склад, вероятно. Сейчас, право, было трудно сказать, чем служило здание раньше: выбитые стекла зияли редкими зубами-осколками из окон, крыша местами провалилась, местами поросла мхом, там появились три молодых дерева. Именно деревья запомнились больше всего — так необычно видеть их прямо на зданиях. Мне сразу живописно представляется, как этот могучий дуб наберется соков, окрепнет и однажды разрастется настолько, что проломит этот дряхлый кирпич, поглотит корнями, и от этой ветхой развалины не останется ничего. А пока что меня приветствовал молодой росток, мерно покачивающийся на ветру подле своих собратьев.

В детстве я с легкостью перебралась бы через эту условную ограду, но меня буквально снимали с решетки на полпути, точно шкодливого котенка, который вскарабкался по лестнице. Взрослые запрещали там играть. Не то чтобы это был самый горький запрет, но почему-то въелся в память.

И что же сейчас? Запретов не было, как не было и забора. Дерево свалило его. Оно рухнуло то ли от ветра, то ли из-за того, что попросту переросло само себя и обрушилось



под собственным весом, — неизвестно. А известно было одно — теперь меня ничего не держит, и я могу переступить запретную черту.

Манившее очарование запустения и пышного цвета быстро сменилось разочарованием. Я тяжело вздохнула и опустила плечи, когда оказалась перед стальной дверью. Ржавчина подкрадывалась долгие годы и, уже не таясь, запятнала по всему полотну, напоминая старческие пятна.

Раз я здесь, раз уже стою перед дверью, до которой буквально рукой подать, почему бы не попробовать? Почему бы не проверить, открыта ли она? Не знаю, на что надеялась больше — на то, что обитель впустит меня или же останется безмолвной затворенной загадкой. Я положила руку на жестяную ручку и дернула на себя, затем от себя. Ничего.

Немного повозившись, запыхалась на удивление быстро. Кажется, прогулка утомила меня куда сильнее. Восстанавливая дыхание, я ощущала, как каждый глубокий вдох наполняет все нутро чем-то дурманно-травянистым. Как много усилий пришлось бы приложить в городе ради одного такого вдоха полной грудью. Воздуха было слишком много. И даже не воздуха, а чего-то растворенного в нем. Жизни. В нем была сама жизнь, и я жадно хватала ее носом и ртом. Этот летний лес должен войти в мое сердце, разрастись, заполнить все собой, до боли в груди. Я прикрыла глаза, представляя, как три зеленых гибких росточка уже не отвечают колыханию ветра. Их крепкие корни сияются, оплетают сердце, закрывают его полностью, не оставляя просвета. В тот миг в моей голове загорелось ясное и пламенное желание такой силы, что непременно вырвалось бы из моего сердца, и я бы сказала его вслух, если бы не резкий звук.

Оглушительный гром раздался не то прямо за дверью, не то в самой двери. Ноги сами отнесли меня на пару шагов прочь от ржавой громадины. Кажется, мои старания не прошли даром и были услышаны. Ворчливый скрежет разнесся по лесу, этот чудовищный рев заставил меня за-

крыть уши. Где-то вдалеке закричали птицы и взмыли прочь.

Когда эта скрежещущая мерзость стихла, я заглянула внутрь. Ну точно склад. Что это еще могло быть? Я оглядывала это здание, похожее на сотни других, как вдруг мое сердце замерло. Понятно, почему дверь была не заперта. У стены согнулась широкая спина в клетчатой рубашке. Полоса пота тянулось вдоль нее вниз. Головы видно не было. Я стала догадываться, что мне стоит уйти, а когда заметила самодельный обрез на земле, сомнений не осталось.

Слишком круто обернувшись, подняла шум, задев ногой какой-то осколок не то плитки, не то еще чего. Все, что сейчас было важно, — тот факт, что поднялся шум и я была замечена. Сердце ушло в пятки.

— Эй, эй, не бойся! — раздался голос.

Мужичок даже не выпрямился, а просто встал в полный рост. Ружье так и осталось лежать у него под ногами.

— Да в нем-то что толку? Я так, для виду! — сказал он.

Он вытер потное лицо рукой. Я видела второй подбородок, сутулые плечи и если не горб, то так, горбик. Какое-то время ни он, ни я не шевелились. Мы не хотели напугать ни себя, ни друг друга.

— Ты не видела кусок? — спросил мужичок, уперев руки в боки и подняв голову вверх. После этого потер шею, пытаясь ее размять. Бог знает, сколько времени он сидит тут, вот так вот скрючившись.

— Какой кусок? — спросила я.

Он поджал губы и почесал грудь. Затем похлопал себя по карманам, снова упер руки в боки и стал оглядываться.

— Кусок, кусок, кусок... — бормотал на выдохе.

— Кусок чего? — спросила я.

Вдруг он взглянул на меня, жалобно и недоверчиво. В нем одновременно была старческая обреченность столетнего деда и слезная наивность малолетнего дитя. Он точно болен, хотя не выглядит опасно.

— Поверишь? Мне никто не верит, — обиженно протянул он.

— Скажите, что вы ищете? — спросила я.

Какое-то время он мялся и выглядел потерянно. Наконец ему хватило решимости. Подошел ко мне, боязливо обернувшись назад. Никого.

— Оно давно у меня его забрало, — начал он. — Мне никто не верит, но я точно знаю, что, нет-нет, кого видел! Там, на дороге, я впервые это увидел... Оно всегда было рядом, оно качалось на моей шее — чую, скоро горб вырастет! Но оно никогда не было так близко, как тогда, на дороге! Знал я, знал, нельзя в таком состоянии садиться за руль, но что-то... не что-то, я знаю, что это было, что заставило меня сесть, несмотря на то, что я... Повезло, что никого не угробил. И «Скорая» быстро приехала — славные парни! Но пока я лежал, видел, как оно пришло! И вот чую — оно заберет меня! Меня целиком! Но нет, оно забрало лишь кусок... И с тех пор все стало еще хуже, намного-намного хуже! Я жду, каждый день и каждую ночь жду, чтобы оно вернулось, чтобы оно отдало мне кусок, я чувствую, как часть меня, живая и горячая, бьется где-то там, в чужом холодном теле! Пусть оно уже явится, пусть вернет мне то, что взяло или заберет уже оставшееся!

Я слушала этот поток, чувствуя собственную беспомощность. Он болен. Очень сильно. Он ни разу не прикоснулся, не посмотрел в сторону ружья — а я-то не сводила с него глаз. Мне было так жаль этого чудака. Когда я говорю что-то, то жду ответа. Эти слова точно требовали чего-то в ответ.

— Я тебе верю, — не найдя ничего другого, молвила я.



Как преобразилось это лицо, плоское и глуповатое, но такое светлое и наивное! Светлая радость наполнила мое сердце. Он вздохнул с облегчением.

— Ох... ты... — Шмыгнув носом, мужичок указал на дверь. — Наверное, неохота впотьмах добираться?

Сведя брови, я поглядела на высокие окна. Этот свет видела, когда просыпалась после тихого часа. Я не знала, сколько времени, но понимала, что уже скоро будет смеркаться. Всегда просыпала эту грань между днем и вечером, так что это время всегда заставало врасплох, как и сейчас. В растерянности, я натянута улыбнулась, кивнула добряку-горбуну, бросила последний взгляд на оружие... Мой растрогавшийся незнакомец продолжал шмыгать носом, руки его оставались пустыми. Увидеть ружье не так страшно, страшно потерять из виду.

— Кусочек, кусочек, кусочек... — продолжил бормотать меж тем мужичок, неторопливо топя к соседней стене.

Он сел на корточки, спиной ко мне, почесал себе грудь и продолжил что-то искать на полу, согнувшись еще сильнее. Было не по себе. Оставить больного человека здесь — опасно, оставаться самой... Что опасней — уйти или остаться? Остаться с кем? Может, это он только сейчас безобидный? Он продолжает бормотать, раскачивается...

Уйти. Убежать. Тут недалеко, я смогу. Здесь все слышно, есть соседи. И это дача, тут есть люди. Это не как в тот раз, это не тот поход с незнакомцами. Боже, как вспоминаю об этом — мурашки по коже! Проклятая глушь, хочется пить, и кажется, что за горой вот-вот откроется нормальная дорога. Но дороги не было вообще никакой. Пришлось карабкаться по поваленному дереву, как по мосту. Руки и ноги дрожат от изнеможения. У этой белобрысой нога замотана пакетом и начинает преть. Ну почему она не может немного потерпеть? Нам всем было очень тяжело. Мы стали как звери. Мы были хуже зверей. Но мы справились. И сейчас я справлюсь.

Да?.. Отдышавшись, стою на крыльце своего дома. Никого не было. Никто не гнался за мной, не следил. Меня удивило, как быстро стемнело — даже цикады не успели запеть, а этих тварей не обманешь.

— Тебе не холодно? — спросила мама, выходя с пледом на крыльцо.

Улыбка расплывается сама собой. Плед из детства! Я не помню, когда и где его потеряла! А он все это время был на даче. С большим удовольствием кутаюсь в него, не столько ради тепла, сколько ради воспоминаний.

— Нет, с чего мне должно быть холодно? — спросила я, зашла в дом и тут же захотела выйти на улицу.

Тут было невыносимо сыро, пахло землей. Холодный воздух оседал, точно в овраге. Конечно, дом старый, но не настолько же? Тут было хуже, чем на улице, но мама уже закрыла за мной дверь. Пришлось кутаться сильнее, уже и впрямь для того, чтобы согреться.

— Тебе холодно, потому что ты все еще лежишь там, на земле... — сочувствующе произнесла мама дрожащим голосом.

— Мама, нет! — возразила я. — Такого не может быть! Я же обещала тебе, что вернусь, значит — вернусь! Вернусь, чтобы обнять тебя и папу! Мам, мам, перестань, не плачь, пожалуйста, или я тоже заплачу!

Глаза горели от слез. Ничего не вижу. Я сжимала ее руки в своих, не готовая ее отпустить.

— Ты до сих пор там, — раздался голос позади меня.

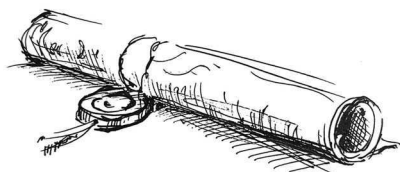
Обернувшись, увидела в кресле горбуна. Он уродливо согнулся, и его подбородок едва не касался колен.

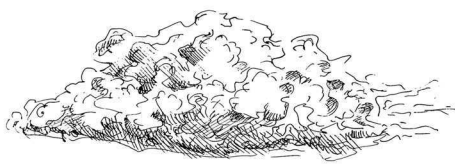
— Я знаю, ты обещала всем, что выберешься, — произнес он. — Но оно украло и от тебя кусок. Закрывай глаза. Отпусти руки и вдохни полной грудью. Ты же веришь? Веришь, что оно пришло и забрало кусок? Тебе осталось немного подождать. Вдыхай. Чувствуешь запах мха?

ТЕРИ НОВА



«ПОЛДЕНЬ»

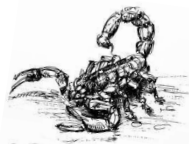




1. Пять ассоциаций* со словом «призрак».
Завывание ветра и скрипы, густая белая дымка в воздухе, боязнь моргнуть, по-
смертие, мурашки.



2. Есть ли жизнь после смерти?
Думаю, что мы перевоплощаемся
в других формах, может быть, даже про-
живаем новые жизни. Не верю, что «води-
тель», управляющий телом, просто ухо-
дит в никуда.



3. О чем эта история?
Эта история о том, какие разные узы
связывают людей: порой кровное родство
хрупче случайных знакомств. Еще она об
алчности, безвыходности, несправедли-
вости и прогнившей сущности в разных
стадиях ее становления. Ну и о призра-
ках, конечно.

Алебастровые трещины серого здания протяжно выли, когда ветер прицельно бил меж раскрошившихся плит. Сухой июньский воздух высосал из этого места всю душу, не оставив ни малейшего напоминания о некогда бурлящем жизнью роскошном отеле. Город теперь совсем не привлекал туристов, скорее даже отталкивал.

События многолетней давности словно не желали покидать стены отеля «Полдень», впитываясь в обивку сидений и тускло освещенном холле и покрывая липким слоем сальные от времени обои. Запахи свежей полироли по прошествии лет сменились плесневелым смрадом, а яркие витражи на окнах потускнели. Но, несмотря на отсутствие внешнего лоска, такие места, как это, все же обладали особой привилегией оседать в памяти и умели рассказывать истории.

Преклонных лет человек, органично вписавшийся за стойку регистрации в далекой молодости, а с годами будто ставший ее естественным продолжением, одиноко раскачивался на скрипучем стуле. Имена в этой истории пока лишние, поэтому просто назовем его Консьерж.

Он как раз закончил обход, который ему приходилось делать лично, за неимением других сотрудников, кроме

пары горничных, повара и сварливой экономки. Последняя еще подрабатывала официанткой, наверняка только для того, чтобы не упустить возможность плюнуть единственным постояльцам в посредственную еду.

Ровно в тот момент, когда часы над стойкой отбили двенадцать, двойная распашная дверь щелкнула и открылась, впуская в прохладное помещение поток горячего знойного воздуха, обгоняющий непривычное для этого часа, да и вообще для «Полдня», число посетителей.

Четверо человек поочередно шагнули в скукожившееся от обилия человеческих тел пристанище, привлекая внимание мужчины за стойкой. Консьерж быстро сбросил оцепенение, вызванное таким скоплением постояльцев, и расплылся в чеширской улыбке, оглядывая собравшихся.

— Добро пожаловать в «Полдень»! — томно протянул мужчина, втайне от всех надеясь, что его зазывной тон не был чрезмерно сладок.

— Спасибо, — выдавил коренастый подросток, стаскивая с плеча увесистый рюкзак и грохая его об пол, устланный ветхим ковром. Облако сухой пыли взмыло вокруг ноши, заставив девочку лет двенадцати, стоящую рядом, чихнуть дважды. Отель отозвался глухим эхом, словно где-то в дальних коридорах сказали: «Будь здорова!» Девочка вздрогнула, озираясь, затем повела худыми плечами, ежась в своем ярко-красном свитере, и уставилась на брата, которому не доставала и до подбородка, с презрением.

— Мог бы оставить свои прибабасы дома, мы тут всего на два дня. — Она щелкнула жвачкой и принялась расхаживать по просторному холлу, разглядывая неудобное убранство, при этом смешно морща нос. — Гадость, — фыркнула, заметив на свисающем со стены куске обоев маленького черного жука. Она вытащила из кармана пер-

цовый баллончик, после незаметно брызнув едкой струей в сторону противника, но промахнулась. Жук опрометью сиганул под обои и смылся в спасительной трещине стены.

Двое взрослых, застрявших в полушаге от порога, по-прежнему возились с багажом в поисках документов, поэтому, конечно же, проглядели акт вопиющего безобразия, устроенного их дочерью. Но Консьерж видел все. Он сделал мысленную пометку, известную только ему одному, и устремил взгляд на пару, копошащуюся у входа.

Элегантная тихая дама в фетровой шляпе удостоила его легким кивком головы и одними губами произнесла слова сожаления. Ее муж наконец смог втиснуть пухлую руку в маленькую пасть чемодана, замок которого явно заклинило. Он на ощупь нашарил стопку документов, лежащую поверх одежды, и принялся вытягивать конечность назад, что было сродни освобождению лампочки, застрявшей во рту любопытного невежды.

Консьерж молча наблюдал со своего места, не вмешиваясь и не произнося ни слова. Не то чтобы он был невежливым, чтобы не предложить свою помощь, просто границы его обязанностей резко заканчивались там, где начиналась территория чужих чемоданов.

Парень, что теперь, подбоченившись, скучал, уткнувшись в телефон, закатил глаза, молясь всем богам — даже пресловутым греческим, — чтобы эта неловкая ситуация поскорее разрешилась. Он не был против самой поездки, но в бунтующей голове шестнадцатилетнего подростка каждое родительское телодвижение соперничало со скрипом пенопласта по стеклу, иначе говоря — было не особо-то приятным. Если бы отец вел себя по-другому вместо того, чтобы отчитывать и критиковать, дорога сюда могла бы стать сносной, как и вся затея с семейным уик-эндом.